

Людвиг Каррер
Вильгельм фон Шинц



Льюис Кэрролл

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИЦ

В данной публикации рассказ Льюиса Кэрролла «Вильгельм фон Шмиц» представлен в трех переводах на русский язык и в английском оригинале, что дает читателю возможность для сравнения.

ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ

Перевод Андрея Москотельникова

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИТЦ

Глава 1

«Вот так всегда!»^{1 1}
(*Старинная пьеса*)

Знойное сияние полудня уже уступило место прохладе безоблачного предвечерия, и умиротворенный океан с легким нашептыванием, внушающим поэтичным умам фантазии насчет разоблачения и омовения, кропил мол, когда вдали показались двое путников, приближающихся к уединенному городишке под названием Уитби^{2 2} по одной из тех головокружительных троп,

¹ Эпиграфы к этому рассказу служат очевидной пародией на Вальтера Скотта, который зачастую сам придумывал эпиграфы к главам своих романов, ссылаясь на «старинные пьесы». Только вместо стихотворных «отрывков» собственного сочинения Кэрролл ставит эпиграфами банальнейшие выражения.

² В рассказе действие происходит в приморском городке Уитби, что в Йоркшире, куда в 1854 г. Ч.Л. Доджсон (будущий Льюис Кэрролл) в компании студентов отправился на летние каникулы и для подготовки к выпускным экзаменам и где состоялся дебют Доджсона как литератора — наряду с настоящим рассказом там было напечатано стихотворение «Леди Поварешка», герой которого также влюблен в девушку низшего класса и даже схожей профессии — кухарку:

В Сочельник юноша один
Пил утром близ Таможни джин,
Потом пошел гулять на рейд —
Зовется он «Марин Перейд»
(Где, то есть, место морякам,
Что «ходят маршем по волнам»
Но где лишь окунется тот,
Кто сухопутно жизнь ведет);
Потом он повернул назад,
Прошел бульвары все подряд,
Прошел по улиц тесноте,
Где, кажется, дома — и те,
Несильный сделают рывок,
И сдвинутся порог в порог;
Взобрался лестницей крутой,
Что воспарила над землей —
На ней упарился бы всяк,
Богатый будь или бедняк.
Жильцы дивились: граф не граф —
Холодный вид, спесивый нрав
И, обстановке вопреки,
Глядится очень щегольски.
Имел он тросточку, букет,
Был напомажен, разодет —
Трудился не из пустяка:
Любил!.. Кухарку с чердака.

удостоенных наименования дороги, которые только и могут вести в такие городки и которые обычно бывают проложены, надо полагать, согласно некоему фантастическому образцу трубы, подводящей к бадье дождевую воду. Старший из путников был изможденным мужчиной с желтоватым лицом, украшенным чем-то, на расстоянии часто принимаемым за усы, и скрытым под бобровой шапкой сомнительного возраста, а вся его наружность была если не представительной, то, по крайней мере, почтенной. Более молодой, в котором понятливый читатель уже опознает героя моего рассказа, имел обличье, которое, раз увидев, уже нельзя было забыть: легкая склонность к тучности казалась лишь незначительным изъяном в мужском изяществе его осанки, и хотя строгие законы красоты, вероятно, потребовали бы несколько более длинных ног для большей пропорциональности фигуры, хотя глазам его следовало точнее соответствовать друг другу по цвету и форме, чем это выходило на самом деле, но тем критикам, которые в своих суждениях не стеснены строгими правилами вкуса — а таких ведь много, — и тем, которые способны были закрыть глаза на недостатки его облика и возвестить о его прелестях, сколь бы малое число их ни отыскивалось ради этого, тем, помимо прочих, кто знал и ценил его качества как личности и верил, что сила его разума превосходила аналогичные способности людей той эпохи, хотя — увы! — ни один такой ценитель еще не подвернулся, — для тех он был сам Аполлон.

Разве имеет значение, если и можно было с определенной долей правоты утверждать, будто его волосы сдобрены слишком большим количеством сала, а его руки обработаны недостаточным количеством мыла? Что его нос слишком сильно загнут вверх, а воротник его рубашки — слишком сильно вниз? Что его усы позаимствовали у щек все их румяна, за исключением малой щечоточки, которая сбежала на жилет? Такие мелочи не стоят замечания со стороны тех, кто претендует на завидное звание знатока.

Наречен он был Уильямом, а батюшку его звали Смит, однако, хотя он, представляясь в высших лондонских кругах, внушительно величал себя «Мистер Смит из Йоркшира», ему, к несчастью, не удалось заполучить ту долю внимания публики, которую он по собственному убеждению заслуживал. Напротив, одни спрашивали его, насколько в глубь веков может проследить он свою

родословную, другие были достаточно злы, чтобы намекать, будто в его общественном положении нет ничего особенного, в то время как насмешливые расспросы третьих, задевающие законное пэрство его семьи, на которое он, как досуже судачили, *почти что не претендовал*, пробуждали в груди этого великодушного юноши жгучую тоску по тем высоким происхождению и родству, в которых враждебная Фортуна ему отказала.

Тогда он задумал преподнести о себе некий вымысел (который в его случае, возможно, следует считать поэтической вольностью), благодаря которому он подвизался в свете под звучным именем, выставленным в заглавии данного рассказа. Такой шаг уже способствовал значительному росту его популярности — обстоятельство, о котором его друзья отзывались непоэтичным сравнением со свежей позолотой фальшивого соверена^{3 3}, но которое сам он более красочно описывал так: «...Бледная фиалка среди мшистых кочек прозябала жалко, но восседает днесь меж королей» — участь, для которой, согласно всеобщему мнению, фиалки не предназначены природой.

Путники, погруженные каждый в свои думы, молчаливо спускались по крутизне, и только время от времени, натываясь на необычайно острый камень или неожиданный провал на тропе, они невольно издавали одно из тех болезненных восклицаний, которыми с таким торжеством демонстрирует себя связь бытия и мышления. Наконец более молодой путник, усилием воли пробудившись от тягостных фантазий, перебил и думы своего товарища неожиданным вопросом:

— Ты думаешь, она сильно изменилась? Я верю, что нет.

— Думаю кто? — раздраженно откликнулся тот, но поспешил поправиться, и с прелестным чувством грамматики подменил эту экспрессивную фразу другой. — Кто та она, о которой ты говоришь?

— Забыл ли ты, — ответил молодой человек, естество которого было столь глубоко поэтично, что он никогда не говорил обыкновенной прозой, — забыл ли ты, о чем мы давеча беседовали? Моими мыслями она одна владела.

— Давеча! — отозвался его друг саркастическим тоном. — Прошел уже добрый час, как ты о ней последний раз упомянул.

Молодой человек кивнул, соглашаясь.

³ Золотой соверен — монета достоинством в один фунт стерлингов, что равняется двадцати шиллингам.

— Час? Что ж, верю. Мы миновали Лит, припоминаю, когда в твое ухо нашептал я трогательный сонет к морю, написанный мной недавно и начинающийся так: «О море в шуме, ярости и пене...»

— Помилуй! — перебил другой, умоляющий голос которого звучал вполне искренне. — Давай не будем начинать сначала. Я уже терпеливо выслушал его один раз.

— Выслушал, так выслушал, — сказал расстроенный поэт. — Хорошо же, я снова предамся мечтаниям о ней.

Он нахмурился и закусил губу, затем забормотал про себя что-то вроде «жесток, недалек умок», наверно, пытался подобрать рифму. Наша парочка проходила теперь близ моста; слева располагались мастерские, справа была вода, снизу доносился неясный гул моряцких голосов и, подхваченный ветром с моря, долетал запах, смутно напоминающий соленую селедку. Все это, от плеска волн в гавани до легкого дымка, грациозно курившегося над крышами домов, вызывало в одаренном юноше одни лишь поэтические переживания.

Глава 2

«Я, я один».
(*Старинная пьеса*)

— Кстати, о ней, — возобновил разговор прозаически настроенный спутник, — зовут-то ее как? Ты ведь этого мне еще не сказал.

Легкое смущение пробежало по привлекательным чертам юноши. Неужто ее имя было столь непоэтичным, что не соответствовало представлениям поэта о гармонии? Он ответил нехотя и едва внятно:

— Ее зовут, — произнес он, слегка запинаясь, — Сьюки.

Долгий и низкий присвист явился единственным ответом, затем старший из собеседников поглубже сунул руки в карманы и отвернулся, в то время как несчастный юноша, по чьим болезненным нервам насмешка приятеля ударила слишком больно, с силой ухватился за перила, чтобы удержаться на ослабевших ногах. В этот момент их ушей достигли отдаленные звуки музыки, раздававшейся на утесе. Менее чувствительный из спутников направился как раз в ту сторону, а горемычный поэт устремился на

мост, чтобы там незаметно для прохожих дать выход еле сдерживаемым чувствам.

Когда он достиг середины моста, солнце уже заходило, и спокойная поверхность воды, расстилавшаяся под ним, усмирила его смятенный дух, поэтому он просто печально преклонил свое чело к перилам и задумался. Какие видения теснились в этой возвышенной душе, когда с лицом, начинавшим лучиться интеллектом, стоило ему просто приобрести выразительность, и хмурым взглядом, которому недоставало лишь величественности, чтобы быть ужасающим, вперял он в медлительный прилив такие прекрасные, хотя и воспаленные глаза?

Видения его детства, сцены счастливой поры передничков, сюсюканья и невинных шалостей; а сквозь долгую вереницу прошедших лет проносились призраки давно забытых прописей, грифельных досок, густо исписанных унылыми арифметическими задачами, редко решаемыми до конца, и никогда — правильно; его костяшкам и корням волос вернулись болезненные ощущения какого-то зуда — он снова был мальчиком.

— Ну-ка, парень, ты там! — вторгся в его думы голос. — Сдвинься туда или сюда, ты же стоишь как раз посередке!

Но слова тщетно летели ему в уши, либо же возбуждали новые толпы фантазий.

— Посередке, да, посередке, — прошептал он глухо, а затем громче, когда его осенила замечательная идея. — Да я тут совсем как Колосс Родосский! — При этой мысли он разогнулся, выпрямившись во всю свою мужскую статью, и утвердился на широко расставленных ногах.

...Было ли то иллюзией, порожденной его разгоряченным мозгом? Или неумолимой реальностью? Медленно, медленно разверзлся под ним мост, и вот уже стойка его стала терять свою устойчивость, вот уже пропало величие в его осанке, но ему не было дела до того, чем это чревато, — в самом деле, не Колосс ли он?

...Широкий шаг Колосса, возможно, и рассчитан на любую неприятность, но эластичность фланели имеет предел, и имеется один рискованный шов... в общем, «природы сила в нем изнемогла»^{4 4}, почему и очистила поле боя, ее же место заступила сила тяготения.

⁴ Цитата из «стихотворной надписи» Джона Драйдена «К портрету Джона Мильтона».

Иными словами, он рухнул.

А «Хильда»^{5 5} медленно шла своим курсом; она понятия не имела, что по ее милости представитель сословия поэтов сверзился под мост, и не догадывалась, чьи это две ноги, судорожно дергаясь, пропадают во всплесках воды; люди попросту втащили на палубу промокшее, бездыханное тело, скорее похожее на утонувшую крысу, чем на поэта, перекинулись парой непочтительных слов, среди которых попадались выражения вроде «вот так тип» и «молокосос», и засмеялись. Да что понимали они в поэзии?

Но обратимся к иной сцене. Длинный-предлинный зал, диваны с высокими спинками, натертый пол; компания пьющих и балагурящих мужчин, клубы табачного дыма; сильное подозрение, что неподалеку еще бутылки наготове. И она, прелестная Сьюки собственной персоной, весело скользящая через все помещение, держа в этих лилейных ручках — что? Без сомнения, какую-нибудь гирлянду, сплетенную из самых душистых цветов на свете? Какой-нибудь хранимый как зеница ока том в сафьяновом переплете с

⁵ Судно «Хильда» и городок Уитби фигурируют также в стихотворении Ч.Л. Доджсона (Льюиса Кэрролла) «Поминальный плач»:

«Унесла ее „Хильда“
Из Уитби куда-то;
Ее звали Матильда,
Я любил ее свято.
Я спросил билетера
(Ох, казньюсь я за это):
„Отправляется скоро?“ —
„Не уйдет до рассвета“.

Ей сказал „этот Недди“
(Так звала меня в шутку):
„Скоро, милая, едем,
Подожди лишь минутку“.
Я совсем был готовый,
Забежал только в лавку,
Чтоб на галстук свой новый
Подобрать и булавку.

Героиня кастрюли!
Украшенье салату!
И тебя умыкнули,
И багажную плату.
Ей какие заботы?
Уносимые „Хильдой“
Кошелек и банкноты
Я утратил с Матильдой!»

Булавку парень отстегнул,
Протер ее, потом продул
И опустил на песок,
Чтоб от забот вздремнуть часок.

творениями древнего барда, над которыми обожает грезить любовь? Быть может, это «Стихотворения Уильяма Смита», ее кумира, в двух томах in octavo, изданных несколько лет назад, из которых до сего времени был продан только один экземпляр, который сам же сочинитель и купил — чтобы подарить Сьюки. Так что же именно из перечисленного несет с такой нежностью эта прекрасная девушка? Увы, ничего, а всего лишь еще две порции закуски, которую минуту назад потребовали посетители пивной.

А в небольшой гостиной тут же рядом, незамеченный и заброшенный, хотя его Сьюки была так близко, мокрый, грязный и растрепанный сидел юноша; по его просьбе разожгли огонь, перед которым он сейчас и сушился, но это было совсем не то «радостное пламя, когда зима не за горами», если использовать его же собственное яркое выражение; на сей раз огонь был питаем хилой и трещащей охапкой хвороста, отчего происходил один лишь почти удушивший его дым, поэтому извиним поэта, который не был способен почувствовать так остро, как обычно, что «...издревле и поныне британец, зря огонь в камине, уверен: не разрушит враг его незыблемый очаг!» (здесь мы снова используем собственные волнующие слова нашего героя).

Официант, не догадываясь, что перед ним сидит поэт, пустился в доверительные разглагольствования; он прошелся по различным материям, но юноша сидел с отсутствующим видом, однако как только официант завел речь о Сьюки, тусклые глаза поэта вспыхнули и он бросил на говорящего дикий взгляд, полный презрительного вызова, который, к несчастью, не достиг цели, ибо официант в этот момент поправлял огонь и больше ничего не замечал.

— Скажи, о скажи эти слова снова! — выдохнул поэт. — Я их, вероятно, не так понял!

Официант поднял на него изумленный взгляд, но любезно повторил свое последнее замечание:

— Я просто сказал, сударь, что она необыкновенно умная девушка, и что я хотел бы иметь ее руку, но она заверила меня, что со временем я смогу овладеть ее изящной...

Но он не договорил, ибо поэт, издав рев муки, без памяти ринулся из этого дома.

«Нет, это слишком!»
(*Старинная пьеса*)

В нашем случае мрачность наступающей ночи выглядела гораздо более грозной, чем если бы дело происходило в каком-нибудь заурядном городишке, а все из-за освященного временем обычая, которого придерживались жители Уитби, оставляющие улицы своего города совершенно неосвещенными; ставя тем самым препону и без того прискорбно быстро распространяющемуся потоку прогресса и цивилизации, они выказывали немалую толику нравственной смелости и независимости суждения. Неужели здравомыслящие люди обязательно должны перенимать каждое новомодное изобретение века просто потому, что так сделали их соседи? Хулители подобной жизненной позиции могли бы заметить, что этим жители Уитби только навредили себе, и такой вывод был бы неоспоримой истиной, но он лишь возвеличил бы в глазах восхищенной нации их заслуженную репутацию приверженцев героического самоотречения и бескомпромиссной твердости намерений ^{6 6}.

Страдающий от безнадежной любви поэт отчаянно и очертя голову рвался сквозь ночь; то спотыкаясь о чье-то крыльцо, то чуть не падая в сточную канаву летел он дальше и дальше, не различая дороги.

В самом темном уголке одной из этих темных улочек (ближайшая освещенная витрина находилась ярдах в пятидесяти) случай столкнул его с тем самым человеком, от которого он бежал, с человеком, которого он ненавидел как удачливого соперника и который-то и довел его до такого безумия. Официант, не догадываясь, в чем тут дело, последовал за поэтом, опасаясь, как бы с тем чего не случилось, и с намерением довести его до дому. Он и не подозревал, какой его ждет удар.

В тот миг, когда поэт разглядел, кто идет рядом с ним, все его затаенное бешенство наконец прорвалось; бросившись на

⁶ «В самом центре большой английской деревни (графство Суррей, д. Тилфорд, Южная Англия — А. М.) не было ни одного фонаря! А была ревностно охраняемая местными жителями (как они сами нам признавались) уникальная — заповедная темнота!.. Однажды они постановили на общедеревенском собрании (трудно представить, но в Англии есть и уличные комитеты, и домкомы, и ассоциации жильцов, а уж собрания, кстати, одна из любимых форм общения!), так вот, постановление гласило: никаких фонарей в центре деревни! Только натуральный лунный и звездный свет, как в старину! А если ночь облачная и дождливая, то пусть будет темно и тихо, как и должно быть в настоящей сельской глуши». «Литературная газета», №7, 19—25.02.2003 (автор заметки — Лидия Григорьева).

официанта и схватив обеими руками за горло, он повалил его на землю, так что тот оказался на грани удушения, — и все это было делом секунды.

— Предатель! Негодяй! Мятежник! Цареубийца! — шипел поэт сквозь стиснутые зубы, сыпя всеми приходившими в голову бранными эпитетами, не затрудняя себя выбором более подходящих к месту. — Ты ли это? Сейчас ты почувствуешь мой гнев!

Официант, без сомнения, действительно осознал, к чему может привести столь необычайное возбуждение, чем бы оно ни было вызвано, ибо он начал яростно сопротивляться и даже завопил «Убивают!», едва обрел дыхание.

— Не говори так, — строго сказал поэт, в конце концов освобождая его, — ибо это ты убиваешь меня.

Оправившийся официант начал было в величайшем недоумении:

— Что вы, я никогда...

— Ложь! — вскричал поэт. — Она не любит тебя! Меня, меня одного.

— Да кто вам такое сказал? — ответил его противник, начиная догадываться, в чем все дело.

— Ты! Ты это сказал, — было брошено в ответ. — Что, негодяй? Хочешь заполучить ее руку? Никогда!

Официант принялся спокойно разъяснять:

— Я сказал, сударь, что желал бы иметь ее легкую руку, чтобы так же грациозно подавать за столом. Но она обещала обучить меня своим изящным манерам — я, видите ли, подумываю о месте метрдотеля в одной гостинице.

Весь гнев поэта сразу же прошел. Теперь он выглядел удрученным.

— Прошу извинить мое насилие, — мягко сказал он, — и предлагаю выпить по стаканчику за дружбу.

— Согласен, — был великодушный ответ официанта, — но, Святый Боже, вы порвали мне пальто!

— Мужайся, — весело воскликнул поэт. — Скоро у тебя будет новое, да еще из лучшего кашемира.

— Гм, — нерешительно ответил официант, — так уж из кашемира...

— Я не стану покупать тебе пальто из другого материала, —

возразил поэт мягко, но решительно, так что официант уступил.

Вновь наведавшись в мирную таверну, поэт проворно заказал большую кружку пунша, и когда ее принесли, призвал своего товарища сказать тост.

— Желаю вам обрести, — проговорил официант, впав в чувствительность, как бы мало его наружность тому ни отвечала, — Женщину! Она удваивает наши печали и вдвое уменьшает наши радости.

Поэт осушил свой стакан, не обращая внимания на речевую ошибку своего приятеля, и время от времени эта внушенная вдохновением сентенция была повторяема в течение всего вечера. Так проходила ночь: они заказали еще одну кружку пунша, затем еще...

* * * * *

— А теперь позволь мне, — сказал официант, в десятый раз пытаюсь встать на ноги и произнести речь, что ему теперь еще явственнее оказалось не под силу, — сказать тост по поводу этого счастливого приключения. Женщина! Она удвоит... — Но в этот момент, для того, наверно, чтобы его любимое мнение стало нагляднее, он сам сложился вдвое, причем так успешно, что моментально исчез под столом.

Можно предположить, что там, в пространстве с ограниченным кругозором, он впал в морализирование по поводу людских недугов вообще и о способах излечения от них, ибо из его убежища немедленно начал доноситься торжественный глас, прочувственно, хотя не совсем внятно доводя до всеобщего сведения, что «когда заботы налетят, — здесь последовала пауза, как если бы говоривший хотел услышать какие-либо предложения, но поскольку среди присутствующих не оказалось человека достаточно компетентного, чтобы продолжить беседу в соответствующем данной печальной возможности ключе, он сам попытался восполнить незавершенность высказывания следующим замечательным утверждением, — в ней все, что я в ней видеть рад».

Поэт тем временем сидел и тихо улыбался сам себе, потягивая свой пунш. Единственное, чем отметил он внезапное исчезновение своего товарища, было вновь наполненным стаканом и сердечным возгласом: «Твое здоровье!», сопровождающимся кивком в ту

сторону, где должен был бы находиться оратор. Затем он одобрительно крикнул «Верно, верно!» и попытался ударить по столу кулаком, но не попал. При упоминании сокрушенной заботой души он, казалось, оживился, так как пару раз понимающе подмигнул, будто имел много чего сказать по этому поводу, но окончание изречения подвигло его на произнесение собственного спича, и он тут же прервал подпольный монолог товарища, исступленно декламировав отрывок из стихотворения, которое сочинил не сходя с места:

«Пусть даже мир неверен и жесток!
Нашел я в нем прекраснейший цветок —
Тебя, тебя, о Сьюки, встретить смог!

Но как же так, скажи, могло случиться,
Что за слугу решила ухватиться?
За негодяя разве держишь Шмитца?

Но нет! Простак отставлен был кругом,
А ты сидишь, увенчана венком,
И песнь поешь, и знаю я, о ком.

Разносчик пива, спутав сны и были,
Своею мнит ту лучшую из лилий,
Но близок, близок твой желанный Вилли.

И новый ключ душе откроет звуки,
Ведь Шмитц, будь деревенщина ли, дюк ли,
Твой весь во всем, о преданная Сьюки!»

Он сделал паузу, передавая слово товарищу, но единственным ответом был донесшийся из-под стола громкий храп.

Глава 4

«Так вот каков конец...»
Николас Никльби^{7 7}

Облаченные в сияющие покрывала, наброшенные на них только что взошедшим солнцем, валы вздымались и плюхали под

⁷ Чарльз Диккенс, роман «Жизнь и приключения Николаса Никльби», гл. XLII. Пер. А. В. Кривцовой.

утесом, по которому шествовал поэт. Читатель, возможно, будет удивлен, что он так и не добился встречи со своей возлюбленной Сьюки; читатель может даже потребовать объяснения, только напрасно: единственная обязанность историка — с неотступной точностью записывать течение событий; если же он идет дальше и пытается вникнуть в скрытые причины вещей, ответить на разные «почему» и «отчего», тогда он вступает во владения метафизиков.

Теперь поэт достиг небольшого возвышения в конце посыпанной гравием дорожки, где нашел местечко, господствующее над морской окрестностью. Там он устало опустился на землю.

Некоторое время он мечтательно глядел на широкое пространство океана, но затем, взбудораженный внезапной мыслью, раскрыл маленький блокнотик и принялся править и дописывать свое новое стихотворение. При этом он еле слышно шептал сам себе: «Ветрам — гетрам — фетром», нетерпеливо отбивая счет ногой по земле.

— А, сойдет и так, — наконец промолвил он, облегченно вздохнув: — поэтам!

О скалы был разбит его баркас,
Штормило море, обжигало ветром,
И тело дюжее, увы, никто не спас! —
В пучине смерть предписана поэтам.

— Ведь последняя строка особенно хороша, — возбужденно проговорил он, — по Кольриджевому принципу аллитерации: три слова из четырех на «П», да плюс вначале сочетание «П», «Н», «С», а в конце «С», «Н», «П» — в пучине смерть предписана поэтам.

— Берегись! — прорычал над его ухом низкий голос. — То, что ты говоришь, будет использовано против тебя. И не дергайся, мы тебя крепко держим. — Последнее замечание было вызвано попыткой поэта высвободиться из возмутительной хватки двух мужчин, неожиданно налетевших на него сверху и теперь державших за воротник.

— Он ведь признается, констебль? Вы слышали? Это ж надо: смерть прописал! — произнес все тот же голос (который со вкусом выговорил благозвучное звание своего помощника и который — об этом, вероятно, и говорить излишне, — принадлежал старшему путнику из первой главы). — А ведь он может поплатиться за это

жизнью.

— Ах, оставьте, — дружелюбно проговорил другой, — сдается мне, джентльмен стихи читает.

— Да что же... что произошло? — изумленно произнес наш несчастный герой, едва обретя дыхание. — Вы... Маггл... о чем ты говоришь?

— О чем говорю! — взвился его бывший приятель. — О чем ты сам говоришь, если на то пошло? Ты убийца, вот ты кто! Где официант, с которым вы были этой ночью? Отвечай!

— Кто? Официант? — медленно повторил поэт, все еще ошарашенный внезапностью своего пленения. — Бросил я его... он спал...

— Ага! — завопил его друг прямо ему в лицо, так что еще невысказанные слова застряли у того в горле. — Спал с моста, когда этот его бросил. Констебль! Не говорил ли я вам? — продолжал он, ослабив захват в ожидании дальнейших ответов.

Ответ поэта, насколько его можно было понять, собрав по кусочкам (ибо выходил он по чуть-чуть, в перерывах между приступами удушья), был следующим:

— Это моя... моя... вы убьете меня... ошибка... я говорю, ошибка... я... я... вы задуш... я говорю... я его...

— Убил, я полагаю, — dokonчил его противник, тут же «перекрыв» то скудное поступление воздуха, которым до сих пор еще позволял своей жертве пользоваться, — и столкнул вниз. Никаких сомнений. Говорят ведь люди, что кто-то этим вечером спал с моста. — Он повернулся к констеблю. — Это наверняка был несчастный официант. Занесите мои слова в протокол! Отныне этот человек мне больше не друг. Никакого снисхождения к нему, констебль! Не надо щадить моих чувств!

В этот момент со стороны поэта слышалось несколько сдавленных звуков, которые, когда в них вслушались, были поняты так:

— Для него... было... слишком много... совсем... это... совсем... упилился...

— Жалкий человечиска! — сурово перебил его Маггл. — Он ведь не сам убился, это же ты его убил? Ну, а что потом?

— Это его совсем... совсем... свалило с ног... — продолжал незадачливый Шмитц совершенно бессвязно, как в забытии, но был внезапно прерван потерявшим терпение констеблем, после чего вся

компания приготовилась двинуться в город.

Но тут на сцене возникло неожиданное действующее лицо, которое разразилось речью, замечательной более своим пылом, чем риторической отточенностью.

— Я только что услышал... Я там дрых под столом... приняв больше, чем смог выдержать... Он так же не виноват, как и я... Черт возьми! Я даже более живой, чем вы, любезные!

Эта речь произвела на слушателей различное действие. Констебль молча выпустил пойманного, сбитый с толку Маггл пробормотал: «Это невозможно! Сговор... Лжесвидетельство... Посмотрим, что они скажут на выездной сессии...», в то время как счастливый поэт бросился в объятия своего избавителя, восклицая срывающимся голосом:

— Нет, с этой минуты не разлучаться никогда! И преданно любить друг друга! — На это заявление официант отнюдь не откликнулся с той сердечностью, которая, может быть, от него ожидалась.

Позднее тем же днем Вильгельм и Сьюки сидели, беседуя, в компании официанта и нескольких друзей, когда неожиданно в комнату вошел раскаивающийся Маггл. Он положил на колени Шмитцу сложенный лист бумаги и глухо произнес тронувшие всех слова: «Будьте счастливы», — после чего исчез, и более его никто не видел.

Просмотрев бумагу, Вильгельм вскочил на ноги. В возбуждении он бессознательно произнес экспромтом следующие стихи:

«Знай, Сьюки! Нам купил он, этот Маггл,
Своих деяний мерзость осознав,
Патент на обладание пивной.
Теперь мы сможем людям продавать
Табак и портер, пунш, вино и эль!»

На сим мы его оставим; а в его дальнейшем счастье решится ли кто сомневаться? Не заполучил ли он Сьюки? А заполучив ее, удовлетворился вполне.

Перевод Кирилла Савельева

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИЦ

Глава I

Так было всегда
Старинная пьеса

Дневной зной уже уступал место прохладе ясного вечера, и морские волны омывали причал с убаюкивающим шелестом, рождающим в поэтических умах родственные идеи движения и употребления спиртных напитков, когда два путника, которых увидел бы любой, кто решил посмотреть в эту сторону, приблизились к уединенному городку Уитби по одной из тех крутых троп, удостоенных названия «дорога», которые, как предполагается, первоначально были сооружены по довольно-таки фантастическому образцу труб, направленных в бочку для сбора дождевой воды. Старший путник был мужчиной средних лет с землистым, измученным заботами лицом, украшенным тем, что издали часто принимали за усы; на его голове сидела бобровая шапка сомнительного возраста и почтенного, если не респектабельного вида. Младший, в котором проницательный читатель без труда узнает героя моей истории, имел телосложение, которое едва ли можно забыть, увидев однажды: некоторая склонность к тучности была лишь незначительным изъяном по сравнению с мужественным благородством очертаний, и, хотя строгие законы красоты могли бы потребовать несколько более длинных ног для того, чтобы сделать его фигуру более пропорциональной, а его глаза должны были бы лучше сочетаться друг с другом, однако для тех критиков, которые свободны от вкусовых ограничений — а таких много, — для тех, кто мог закрыть глаза на недостатки его фигуры и подчеркнуть ее достоинства — хотя немногие могли справиться с этой задачей, — и, превыше всего, для тех, что знал и ценил его характер и верил, что мощь его разума превосходит способности его

современников — увы! таких еще не нашлось, — для них он был самым Аполлоном.

Что с того, если будет вполне уместно заметить, что его волосы были слишком грязными, а его руки слишком давно не прикасались к мылу? Что его нос задран слишком высоко, а воротничок рубашки опущен слишком низко? Что его бакенбарды заимствовали весь цвет с его щек, не считая того небольшого, что перешло на жилет? Такая банальная критика недостойна внимания любого, кто претендует на завидный титул ценителя прекрасного.

Его звали Уильямом, а его отец имел фамилию Смит, но, хотя он представлялся многим из высших кругов Лондона как «мистер Смит из Йоркшира», к сожалению, ему не удалось привлечь к себе общественное внимание в той мере, как он заслуживал: некоторые спрашивали его, как далеко в прошлое уходит его родословная, другие грубо намекали на то, что его положение в обществе не является совершенно исключительным, а саркастические расспросы третьих, касающиеся сомнительной принадлежности его семьи к пэрскому сословию, на которую он якобы собирался объявить свои притязания, пробудили в груди благородного юноши пылкое стремление к высокому титулу и родству со знатью, которым его обделила жестокая Фортуна.

Так в нем зародилась идея о вымысле, который в его случае нужно считать не более чем поэтической вольностью и посредством которого он вступил в мир под громким именем, указанным в названии этой истории. Этот шаг уже заметно увеличил его популярность — обстоятельство, которое его друзья прозаически сравнивали с «новой позолотой на фальшивом соверене», — но которое он сам более возвышенно сравнивал с «фиалкой бледною в долине мшистой // воссевшей вместе с королями», хотя, как принято считать, фиалки от природы не предназначены для такой участи.

Путники, погруженные в свои мысли, шли по крутой дороге в полном молчании, если не считать тех моментов, когда необыкновенно острый камень или неожиданная рытвина вызывали невольный вскрик боли, убедительно демонстрирующий связь между Разумом и Веществом. Наконец молодой путник, с трудом отвлекшись от тягостных раздумий, нарушил ход мыслей своего спутника внезапным вопросом: «Как думаете, сильно изменился ее облик? Хотелось бы надеяться, что нет».

— Кто? — раздраженно отозвался старший; потом, торопливо поправившись и проявив тонкое знание правильной речи, он заменил свой вопрос выразительной фразой: — Кто эта «она», о которой ты говоришь?

— Тогда забудьте, — попросил молодой человек, чья натура была настолько поэтичной, что он никогда не переходил на обычную прозу. — Забудьте все, о чем мы говорили только что... Поверьте лишь: она всегда живет в моих мыслях!

— Только что! — язвительно повторил его друг. — Прошел уже целый час с тех пор, как ты последний раз открыл рот.

Молодой человек кивнул, соглашаясь с ним.

— Уж целый час прошел? Да, верно, верно. Мы проходили через Лит, как я припоминаю, и я тихо нашептывал на ухо сонет трогательный тот, посвященный морю, что я недавно написал, с началом вот таким: «Ревет, вздымается, ярится океан, и мачта гнется...»

— Ради всего святого! — перебил старший, и в его умоляющем тоне звучала настоящая искренность. — Только не начинай все сначала! Я уже терпеливо выслушал это один раз.

— О да, тут ваша правда, — ответил озадаченный поэт. — Что ж, хорошо: тогда она опять вернется безраздельно в мои думы.

Он нахмурился и закусил губу, бормоча про себя такие слова, как «печенье», «влечение» и «коловращение», словно пытался подобрать рифму к чему-то. Путники приблизились к мосту; справа выстроились лавки, а слева блестела вода, и снизу доносились неразборчивые голоса моряков. Подхваченный морским бризом, до них долетел аромат, смутно напоминающий соленую селедку, и все вокруг — от легкого волнения в гавани до белых дымок, проплывающих над крышами, — говорило одаренному юноше лишь о поэзии и только о ней.

Глава II

И я все тот же

Старинная пьеса

— И все же, как ее зовут? — спросил прозаично настроенный спутник. — Ты никогда не говорил мне об этом.

Слабый румянец заиграл на щеках юноши. Может быть, ее

имя звучит непоэтично и не согласуется с его представлениями о гармонии природы? Наконец он заговорил, неохотно и невнятно:

— Ее зовут... Сьюки.

Долгий, тихий присвист был единственным ответом; глубоко засунув руки в карманы, старший отвернулся. А несчастный юноша, чья чувствительная душа получила грубую встряску от такого насмешливого обращения, ухватился за поручень рядом с собой, чтобы унять дрожь в ногах. В этот момент их слуха достигли звуки отдаленной мелодии на утесе, и в то время, как его бесчувственный товарищ направился в сторону утеса, расстроенный поэт поспешил к мосту, чтобы дать выход своим сдерживаемым чувствам незаметно для прохожих.

Солнце уже садилось, когда он ступил на мост, и вид неподвижной водной поверхности внизу успокоил его мятущийся дух. Упершись локтями в перила моста, он предался печальным размышлениям. Какие видения наполняли его благородную душу? Черты его лица светились бы умом, если бы оно имело хоть какое-то выражение, а хмурый взгляд был бы ужасен, если бы обладал хоть каким-то достоинством. О чем он думал, глядя на тихую рябь прилива своими красивыми, хотя и налитыми кровью глазами?

То были видения прежних дней, сцены из счастливого времени детских передничков, патоки и невинности; из туманной дали прошлого выплывали призраки давно забытых книжек по правописанию, грифельных досок, густо исчерканных ужасными суммами, которые редко получались вообще и никогда не оказывались правильными; щекочущее и даже болезненное ощущение вернулось в костяшки пальцев и зашевелилось у корней волос; он снова был мальчиком.

«Итак, молодой человек! — раздался голос из ниоткуда. — Выбери одну из двух дорог, которая тебе нравится, но ты не можешь остановиться посередине!»

Слова не вызвали у него отклика, но направили ход его мыслей по новому пути.

— Дороги, да, дороги, — прошептал он, а потом заговорил громче, осененный блестящей идеей. — О да, и разве я не Колосс Родосский?

При этой мысли он мужественно выпрямился и широко расставил ноги, упершись в мостовую.

...Было ли это видением его разгоряченного воображения?

Или суровой действительностью? Медленно, очень медленно мост начал расходиться под ним; его ноги почти лишились опоры, и его поза лишилась всякого достоинства, но он не заботился об этом. Будь что будет — разве он не Колосс?

...Наверное, размах шагов Колосса соответствует любой чрезвычайной ситуации, но растяжимость напыщенного стиля ограничена; в этот критический момент «сила природы не могла пойти дальше» и оставила его, и на смену ей пришла сила притяжения.

Иными словами, он упал в воду.

Между тем «Хильда» неторопливо шла своим курсом; ее пассажиры не знали, что она миновала Поэта под мостом и не догадывались, кому принадлежали ноги, с судорожной энергией брыкающиеся над бурными водами. Матросы вытащили на борт насквозь мокрого, задыхающегося незнакомца, похожего скорее на утонувшую крысу, чем на Поэта, но почтительно обратились к нему и даже со смехом сказали что-то насчет «падучего парня» и «молокососа»; что они знали о Поэзии?

Обратимся к другим сценам: длинная комната с низким потолком, сиденья с высокими спинками, деревянный пол, начищенный песком. Мужчины выпивают и болтают, многие курят. Крепнет убеждение, что где-то рядом существуют духи, и вот она, сама прекрасная Сьюки, грациозно скользит через комнату и держит в своих лилейных ручках — что? Может быть, гирлянду, сплетенную из самых благоуханных цветов на свете? Или заветный томик в сафьяновом переплете с золотыми застежками, бессмертное творение старинного барда, над которым она любит сидеть в раздумье? А может быть, «Стихотворения Уильяма Смита», кумира ее ночных грез, в двух томах инкварто, опубликованные несколько лет назад, хотя до сих пор был продан только один экземпляр, который он купил сам, чтобы подарить Сьюки? Какую из этих вещей прекрасная дева несет с такой нежной заботой? Увы, ни одну из них: это всего лишь две порции «половины наполовину»^{8 8}, недавно заказанные посетителями в баре.

Мокрый, унылый и растрепанный, юноша сидел в маленькой комнате — никем не признанный и всеми заброшенный. По его просьбе развели огонь, перед которым он теперь старался

⁸ «Половина наполовину» — кружка подогретого эля пополам с портером

обсушиться, но поскольку «веселый пламень, радостный предвестник зимних дней» (по его собственному яркому описанию) пока что состоял из шипящей вязанки сырого хвороста, едва не задушившей его дымом, его можно простить за то, что он не чувствовал, как «...огонь Души, пылающий во мраке, британца согревает и бодрит, как яркий пламень очага родного!». (Здесь мы снова пользуемся его проникновенными словами.)

Официант, не ведавший о том, что перед ним сидит Поэт, доверчиво изливал свою душу; он останавливался на разных темах, хотя юноша оставался безучастным к его откровенности, но, когда он наконец завел речь о Сьюки, тусклые глаза вспыхнули огнем и с выражением презрительного вызова уставились на оратора. К сожалению, этот взгляд пропал впустую, поскольку адресат в тот момент поправлял дрова в печке и ничего не заметил. «Скажи, о, скажи эти слова еще раз! — задыхаясь, вымолвил юноша. — Определенно, слух подвел меня сейчас!» Официант изумился, но послушно повторил свою последнюю фразу: «Я просто сказал, сэр, что она необыкновенно умная девушка, и я надеюсь однажды завладеть ее сердцем, так что...» Он не успел закончить, потому что жаргоне лондонских кокни XIX века. — Прим. пер.

Поэт с горестным стоном выбежал из комнаты куда глаза глядят.

Глава III

Нет, это уже слишком!
Старинная пьеса

Ночь, темная ночь.

В данном случае ночная тьма была гораздо более глубокой, чем в обычном городе из-за освященного временем обычая, соблюдаемого гражданами Уитби, которые оставляли свои улицы без какого-либо ночного освещения; таким образом выступая против прискорбно быстрого прогресса и наступления цивилизации, они проявляли немалое нравственное мужество и независимое мнение. Стоит ли разумным людям принимать любые новомодные изобретения только потому, что их соседи сделали это? В упрек их поведению можно заметить, что этим они только вредили себе, и такое замечание, несомненно, будет верным, но с

точки зрения восхищенного народа оно лишь возвышает их заслуженную репутацию героических и самоотверженных людей, бескомпромиссно устремленных к своей цели.

Поэт, отчаянно страдающий от безнадежной любви, очертя голову устремился в ночь, то спотыкаясь о ступеньки крыльца, то наполовину увязая в сточной канаве, но продвигаясь вперед и только вперед.

В самом темном месте одной из темных улиц (окно ближайшей освещенной лавки находилось примерно в пятидесяти ярдах), случай свел его с тем самым человеком, от которого он убежал, с человеком, которого он ненавидел как удачливого соперника и который довел его до такого лихорадочного состояния. Официант, не понимавший, в чем дело, последовал за ним, чтобы убедиться, что с ним не случится ничего нехорошего, и привести его назад, даже не представляя, какое потрясение его ожидает.

В тот же миг, когда Поэт узнал своего обидчика, вся его сдерживаемая ярость прорвалась наружу: он бросился на официанта, схватил его за горло обеими руками, бросил на землю и стал душить — все это за какие-то несколько секунд.

— Предатель! Злодей! Мятежник! Цареубийца! — шипел он сквозь стиснутые зубы, употребляя все оскорбительные эпитеты, которые приходили ему в голову, и не задумываясь об их уместности. — Это ты? Теперь ты познаешь мой гнев!

Официант, несомненно, испытывал некоторое неудобство и необычные ощущения, какими бы они ни были, поскольку он яростно боролся с нападавшим и вскричал: «Убийца!» — в тот момент, когда голос вернулся к нему.

— Не говори так, — сурово ответил Поэт, отпуская его. — Это ты убиваешь меня.

Официант выпрямился и удивленно произнес:

— Но я никогда...

— Это ложь! — выкрикнул Поэт. — Она тебя не любит!

— А кто сказал, что любит? — спросил бедняга, начиная понимать, как обстоят дела.

— Ты! Ты это сказал! — последовал яростный ответ. — Что, злодей? Хочешь завладеть ее сердцем? Не бывать этому!

— Сэр, я надеялся овладеть ее мастерством обслуживать посетителей ^{9 9}, ведь тут ей нет равных, — спокойно объяснил

⁹ Этот эпизод, начиная с разговора в гостинице, основан на игре слов: официант говорит на жаргоне кокни «hasquire her Hart» в смысле «овладеть ее мастерством», а Поэт слышит «завладеть ее сердцем». — Прим.

официант. — Видите ли, я подумываю о том, чтобы подать заявление на должность старшего официанта гостиницы.

Гнев Поэта моментально улегся, хотя он выглядел скорее удрученным, чем обрадованным.

— Извините меня за насилие, — мягко сказал он. — Давайте же разопьем дружескую чашу.

— Согласен, — великодушно ответил официант. — Но только посмотрите, во что превратилось мое пальто!

— Мужайтесь! — радостно воскликнул наш герой. — Взамен получите вы новое пальто, притом из лучшего кашемира.

— Хм, — нерешительно протянул его собеседник. — Тут есть еще другие вещи...

— Других вещей я покупать не буду, — деликатно, но решительно отвечал Поэт, и официант почел за благо отступить от дальнейших претензий.

Вернувшись в дружелюбную таверну, Поэт немедленно заказал чашу пунша, а когда ее принесли, предложил своему другу произнести тост.

— Хорошо, — сказал официант, который был сентиментален по натуре, хотя никто бы этого не сказал, судя по его виду. — Хорошо... Женщина! Она удваивает наши печали и наполовину сокращает наши радости.

Поэт осушил свой бокал, не позаботившись исправить ошибку собеседника, и по прошествии времени этот вдохновляющий тост повторялся раз за разом. И пока не забрезжил рассвет, им принесли еще одну чашу пунша... и еще одну.

* * * * *

— Теперь благословите меня, — произнес официант, в десятый раз пытаюсь подняться на ноги и произнести речь и проваливаясь назад с еще большим треском, чем он это делал раньше. — Благословите произнести тост по этому счастливому случаю. Женщина! Она удваивает... — Но в этот момент — возможно, в качестве иллюстрации к своей любимой теории — он «раздвоился» с таким успехом, что в мгновение ока исчез под столом.

Обратившись к этой ограниченной сфере наблюдения, можно предположить, что он упал для того, чтобы поразмыслить о

человеческих бедах в целом и средствах для их исправления, потому что из его убежища зазвучал торжественный голос, с чувством, хотя и довольно неразборчиво, произносящий следующие слова: «Когда мужское сердце удручено заботой...» — тут наступила пауза, как будто он хотел оставить эту тему открытой для обсуждения, но, поскольку никто из присутствующих не выказал желания предложить правильный курс действий в таких печальных обстоятельствах, он самостоятельно попытался восполнить этот недостаток примечательным заявлением: «Она много о себе воображает, не то что некоторые».

Тем временем Поэт сидел за столом и чему-то улыбался, попивая пунш; его единственная реакция на внезапное исчезновение собеседника заключалась в том, что он налил себе новый бокал и сердечным тоном произнес: «Ваше здоровье!» — кивнув в ту сторону, где еще недавно сидел официант. Потом он ободряюще воскликнул: «Правильно, правильно!» — и попытался грохнуть кулаком по столу, но промахнулся. Казалось, он глубоко заинтересовался темой «сердца, удрученного заботой» и даже с хитрым видом подмигнул два или три раза, как будто показывая, что он может многое рассказать об этом, если захочет. Но вторая фраза подвигла его на речь, и он сразу же прервал подземный монолог официанта экстатическим отрывком из стихотворения, которое только что сочинил.

Пусть мир жестокий причиняет муки,
Прекраснейший букет попал мне в руки,
Когда тебя я выбрал, моя Сьюки!
Неужто не нашла достойного ты варианта
И обручилась — с кем... с официантом!
Ужели Шмиц тебе немил, с его талантом?
О нет! Отвергнут был официант влюбленный,
И ты теперь, с главою преклоненной,
Поешь о том, когда придет твой нареченный.
Пока официант, тупой и полный гнили,
Мечтал владеть тобой, нежнейшая из лилий,
Он наконец пришел, твой долгожданный Вилли.
Пусть эта музыка послужит нам порукой, —
Ведь Шмиц, будь он король иль нищий однорукий,
Всегда живет в душе у верной Сьюки!

Он сделал паузу, ожидая реакции слушателей, но громкий

храп, доносившийся из-под стола, был единственным ответом.

Глава IV

Это конец?

Николас Никльби

Купаясь в сиянии утреннего солнца, морские валы с шумом разбивались у подножия утеса, вдоль которого шел Поэт, погруженный в собственные мысли. Возможно, читателя удивит, что он до сих пор не смог поговорить со своей возлюбленной Сьюки; читатель захочет узнать причину, но его вопросы будут тщетны. Неукоснительно точная запись развития событий — исключительная обязанность историка; если бы он пошел дальше и попытался проникнуть в скрытые причины вещей, отвечая на вопросы «как?» и «почему?», то нарушил бы границу метафизического царства.

Поэт достиг возвышенности в конце гравийной дорожки, где обнаружил скамью с превосходным видом на море и устало опустил на нее.

В течение некоторого времени он мечтательно озирает морские просторы, а потом, осененный внезапной мыслью, достал из кармана маленькую записную книжку и приступил к правке и завершению своего последнего стихотворения. Он медленно бормотал себе под нос слова «смерть — твердь — круговерть» и нетерпеливо притопывал ногой.

— Ага, это сойдет, — наконец произнес он со вздохом облегчения. — Путь будет «круговерть».

Его ладья исчезла в сердце бури,
Попавши в роковую круговерть,
Средь рифов, утопающих в морской лазури,
Его к себе навек призвала смерть. —

Вторая строка удалась особенно хорошо, — восторженно продолжал он. — Кроме того, соблюден принцип аллитерации Кольриджа — в—р., в—р. — «попавши в роковую круговерть».

— Берегись, — грянул ему в уши грозный голос. — Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя... Нет, даже не

пытаться, мы крепко тебя держим.

Последнее замечание относилось к телодвижениям Поэта, естественным образом возмущенного поведением двух незнакомцев, неожиданно схвативших его сзади за шиворот.

— Он сознался, констебль. Вы его слышали? — произнес голос первого человека (который с гордостью носил благозвучное имя Маггл и которого будет излишне представлять читателям как старшего путника в главе I). — Его жизнь теперь не стоит даже этих слов.

— Прекратите, — с жаром вмешался другой голос. — Мне кажется, что этот джентльмен — начинающий поэт.

— Что... В чем дело? — выдохнул наш несчастный герой, к которому вернулся дар речи. — Что вы хотите сказать, Маггл?

— Что я хочу сказать? — рявкнул его бывший друг. — Гораздо интереснее, что ты хочешь сказать, если уж речь зашла об этом! Ты убийца, вот кто ты такой! Где официант, с которым ты был вчера ночью? Отвечай!

— Кто... официант? — медленно повторил Поэт, все еще ошарашенный внезапностью своего пленения. — Он просто упал...

— Это мне известно! — выкрикнул неверный друг, моментально подскочивший к нему и схвативший его за горло, чтобы заглушить окончание фразы. — Упал в воду и утонул, констебль! Я говорил вам — и кто же это сделал? — продолжал он, ненадолго ослабив свою хватку, чтобы получить ответ.

Ответ Поэта, насколько можно судить (поскольку он был отрывочным и бессвязным, в промежутках между приступами кашля), звучал следующим образом: «Это была моя... моя... вы убьете меня... вина... я говорю, вина... вы меня задуши... я дал ему...»

— Полагаю, дал ему пинка, — заключил допрашивающий, снова перекрывший скудный доступ воздуха в легкие своей жертвы. — И тот конечно же полетел вниз. Я слышал, кто-то упал с моста сегодня ночью, — продолжал он, повернувшись к констеблю. — Без сомнения, это несчастный официант. Теперь послушайте меня! Я больше не считаю этого человека своим другом: не жалеете его, констебль! Не вздумайте отпустить его, чтобы пощадить мои чувства!

В это время поэт издал несколько судорожных звуков, которые при внимательном прослушивании можно было перевести так:

«Пунш... 10 10 это было уже... слишком много для него... поэтому он... он...»

— Молчи, ничтожество! — сурово перебил Маггл. — Ты еще смеешь шутить об этом! Ты дал ему пинка, не так ли? И что потом?

— Это... это просто сбило его с ног, — продолжил несчастный Шмиц, но его бессвязный монолог был прерван нетерпеливым констеблем, и все четверо направились к городу.

Но тут на сцене появился неожиданный персонаж и произнес речь, гораздо более примечательную своей энергичностью, чем грамматической точностью.

— Я только что услышал об этом... я заснул под столом — принял больше пунша, чем мог выдержать. Он так же невиновен, как и я — мертвый, как же! — я живее чем вы, зарубите себе на носу!

Эта речь произвела разное действие на слушателей: констебль спокойно отпустил Поэта, а потрясенный Маггл пробормотал:

— Невероятно! Это заговор — лжесвидетельство — передайте дело в суд присяжных... — в то время как счастливый Поэт бросился в объятия своего спасителя и воскликнул голосом, прерывающимся от волнения:

— Нет, с этого часа мы больше не расстанемся! Наша жизнь и любовь не знает преград!

Впрочем, официант не отнесся к его словам с той сердечностью, какую от него можно было ожидать.

Позднее, в тот же день, когда Вильгельм и Сьюки сидели за столом и беседовали с официантом и несколькими друзьями, раскаявшийся Маггл вошел в комнату, положил Шмицу на колени сложенный лист бумаги, произнес глухим голосом: «Будьте счастливы!» — удалился, и с тех пор его больше не видели.

Внимательно прочитав документ, Вильгельм поднялся на ноги; под влиянием этого волнующего момента он бессознательно сложил импровизированный стих:

О, моя Сьюки! Маггл, сознавшийся в дурных делах,
Купил лицензию на новый дом публичный
И предлагает нам клиентам продавать
Эль, виски, портер и табак отличный!

¹⁰ Еще один эпизод, основанный на игре слов: punch (удар) и punch (пунш) произносится одинаково. — Прим. пер.

На этом мы оставим его; кто отныне посмеет усомниться в его счастье? Разве он не получил Сьюки? А получив ее, он может быть доволен.

Перевод Андрея Боченкова

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИЦ

Глава первая

«И так было все время».

(Старая пьеса)

Душный яркий свет полудня уже уступал место прохладе безоблачного вечера, и убаюканный океан с тихим рокотом омывал причал, навевая поэтическим умам мысли о движении и омовении, когда сторонний наблюдатель мог заметить двух путников, приближавшихся к уединенному городку Уитби по одной из тех крутых тропинок, удостоенных названия «дорога», которые вели в этот населенный пункт и которые, вероятно, прокладывали, взяв за модель сточную трубу, уходящую в бочку для дождевой воды. Старший из двоих был желтолицый, измученный заботами мужчина; черты его лица были украшены тем, что часто на расстоянии можно ошибочно принять за усы, и затенены бобровой шапкой сомнительного возраста и того вида, который если и не назовешь респектабельным, то, по крайней мере, почтенным. Более молодой, в котором проницательный читатель уже узнал героя моего рассказа, обладал фигурой, которую, однажды увидев, вряд ли забудешь: легкая склонность к тучности казалась лишь пустяковым недостатком на фоне мужественной плавности ее очертаний, хотя строгие каноны красоты, возможно, требовали бы несколько более длинной пары ног, дабы сохранить пропорции его силуэта, и несколько большей симметричности глаз, чем дала ему природа. Тем не менее для тех критиков, которые не связаны ограничениями законов хорошего вкуса, — а таковых множество — для тех, кто мог бы закрыть глаза на дефекты его фигуры и выделить ее красоты, — хотя и мало нашлось тех, кто был способен выполнить эту задачу, — для тех, кто знал и ценил его личные качества и верил, что сила его ума превосходила силу ума

его современников, — хотя, увы! таковых до сих пор не нашлось, — для тех он был Аполлоном.

Впрочем, разве мы погрешили бы против истины, если бы сказали, что его волосы слишком уж лоснились, а руки слишком редко прикасались к мылу? Что его нос был слишком задран вверх, а воротничок рубашки слишком завернут вниз? Что на его усах алел весь румянец с его щек, за исключением маленького кусочка, который осыпался на жилет? Такая тривиальная критика была недостойна внимания любого, кто претендовал на высокое звание знатока.

При крещении сей юноша получил имя Уильям, а фамилия его отца была Смит, но, хотя он представлялся во многих высших кругах в Лондоне импозантным именем «мистер Смит из Йоркшира», к несчастью, ему не удалось привлечь ту долю общественного внимания, какой он, по его мнению, заслуживал. Некоторые спрашивали его, насколько длинна его родословная; у других хватало низости намекать, что его положение в обществе было не вполне уникальным; в то время как саркастические вопросы третьих касались потенциального наличия аристократических корней, на которые, предположительно, он собирался заявить права. Все это пробудило в груди молодого человека, исполненного духом благородства, стремление к обретению такого высокого рождения и связей, в которых отказала ему злобная Фортуна.

Посему у него возникла эта фантазия, которую, возможно, в данном случае следует рассматривать просто как поэтическую вольность, представляться звучным именем, стоящим в заглавии этой истории. Этот шаг способствовал большому росту его популярности, причем сие обстоятельство его знакомые совершенно прозаично сравнивали с фальшивым совереном в новой позолоте. Сам же он предпочитал более приятное описание: «...фиалка бледная, что наконец открыта в долине, мхом поросшей, и рождена, чтоб за одним столом сидеть с монархами»: хотя, согласно общим представлениям, фиалки обычно для этого не очень приспособлены по своей конституции.

Путешественники, каждый из которых был погружен в собственные мысли, шагали вниз по склону в полной тишине, за исключением моментов, когда необычно острый камень или неожиданная рытвина на дороге вызывали один из тех

непроизвольных вскриков боли, которые столь триумфально демонстрируют связь между Сознанием и Материей. Наконец молодой путешественник, с трудом очнувшись от своих болезненных мечтаний, прервал размышления своего спутника внезапным вопросом:

— Как думаешь, она сильно изменится? Я полагаю, что нет.

— Думаю, кто? — язвительно ответил второй, затем поспешно поправился и, как человек, обладающий тонким чувством грамматики, выразился более корректно: — Кто эта «она», о которой ты говоришь?

— Так, значит, ты забыл, — спросил молодой человек, который был в душе настолько большим поэтом, что никогда не говорил обычной прозой, — ты забыл о том предмете, о котором мы только что беседовали? Поверь мне, она поселилась в моих думах с тех самых пор.

— Только что! — отозвался саркастическим тоном его приятель. — Да прошел добрый час с тех пор, как ты открывал рот последний раз.

Молодой человек согласно кивнул.

— Час? Верно, верно. Мы проходили Лит, как мне сдается, и тихо на ухо тебе я бормотал тот трогательный сонет к морю, который написал я так недавно, начинавшийся: «Твои ревущие, храпящие, вздымающиеся, скорбящие просторы, что...»

— Имей же милосердие! — прервал его второй, и в его умоляющем голосе прозвучала неподдельная искренность. — Только не начинай снова! Я это уже один раз выслушал с величайшим терпением.

— Ты выслушал, выслушал, — расстроено подтвердил поэт. — Что ж, тогда она снова станет темой моих мыслей. — Тут он нахмурился и закусил губу, бормоча себе под нос такие слова, как «муки», «руки» и «брюки», словно пытаясь подобрать рифму к какому-то слову. Теперь пара проходила около моста, и слева от них стояли лавки, а справа была вода; а снизу доносился неразборчивый гул голосов, и дующий со стороны моря бриз приносил аромат из вздымающихся в бухте вод, неясно намекающий на соленую сельдь и другие всевозможные вещи, а легкий дымок, который изящной струйкой вился над крышами домов, вызывал в голове одаренного юноши лишь поэтические мысли.

Глава вторая

«Возьмем меня, к примеру».
(*Старая пьеса*)

— Но раз уж мы о ней заговорили, — продолжил беседу человек прозы, — как ее зовут? Ты ведь мне этого еще не говорил. — Легкий румянец пробежал по не лишенным привлекательности чертам юноши; неужели ее имя было непоэтично и не соответствовало его представлениям о природной гармонии? Он заговорил неохотно и неразборчиво.

— Ее зовут, — слабо выдохнул он, — Сьюки.

Единственным ответом был протяжный тихий свист; путешественник постарше отвернулся, засунув руки поглубже в карманы, а несчастный юноша, чьи нежные нервы были жестоко потрясены насмешкой его приятеля, ухватился за ближайшее перило, чтобы придать устойчивости подкосившимся ногам. В этот момент до их ушей донеслись звуки далекой мелодии, и, в то время как его бесчувственный товарищ двинулся в том направлении, откуда звучала музыка, расстроенный поэт поспешил к Мосту, чтобы незаметно для других прохожих дать выход своим еле сдерживаемым чувствам.

Солнце уже садилось, когда он добрался до этого места, и, когда он взошел на мост, безмятежная гладь воды успокоила его возмущенный дух, и, печально облокотившись на перила, он предался размышлениям. Какие видения наполнили эту благородную душу, когда с лицом, которое лучилось бы умом, если бы у него вообще было хоть какое-то выражение, и с хмурым взглядом, которому недоставало лишь достоинства, чтобы выглядеть ужасным, он уставился в ленивый прибой этими прекрасными, хотя и слегка покрасневшими глазами?

Видения его детских дней; сцены из счастливой поры детских фартучков, патоки и невинности; над длинной вереницей прошлых лет проплывали призраки давно забытых сборников упражнений по правописанию, грифельные доски, густо испещренные скучными вычислениями, которые вообще редко когда получались... в костяшках его пальцев и корнях волос снова возникли щекочущие и несколько болезненные ощущения, и он опять превратился в

маленького мальчика.

— Эй, молодой человек! — раздался чей-то голос. — Можете идти в любую сторону, какая вам по нраву, но на середине останавливаться нельзя! — Слова лениво влетели в его уши и послужили лишь для того, чтобы подсказать ему новое направление мечтаний; «Идти, да, идти», — тихо прошептал он, а затем произнес уже погромче, потому что в голову ему вдруг пришла неожиданная идея: — Да, а чем я не Колосс Родосский? — Он выпрямился во весь свой мужественный рост и снова двинулся вперед большими, более твердыми шагами.

...Было ли это всего лишь иллюзией его воспаленного мозга или суровой реальностью? Медленно, медленно разверзлся мост под его ногами, и теперь его шаг уже становился все менее твердым и исчезало достоинство осанки; ему все равно: будь что будет — разве он не колосс?

...Поступь колосса, возможно, соответствовала силе душевного порыва; однако энергия напыщенных речей имеет свои границы; именно в этой критической точке «натуры сила бессильной оказалась» и посему покинула его, в то время как вместо нее начала действовать сила тяжести.

Иными словами, он упал.

А «Хильда» медленно продолжила свой путь, и капитан не ведал, что, проходя под разводным мостом, его судно послужило причиной падения поэта, и не догадывался, кому принадлежали эти две ноги, что, спазматически дрыгаясь, исчезли в кружащемся водовороте... Матросы втянули на борт мокрое до нитки, задыхающееся тело, которое скорее напоминало утонувшую крысу, чем Поэта; и заговорили с ним без должного благоговения, и даже назвали «молодым парнем», присовокупив что-то насчет «желторотого», и засмеялись; что они понимали в Поэзии?

Обратимся же к другим сценам: длинная комната с низким потолком и скамьями с высокими спинками и посыпанный песком пол; группа людей, которые пьют и обмениваются сплетнями; везде табачный дым, могучее доказательство того, что духи где-то существуют; и она, прекрасная Сьюки собственной персоной, беззаботно скользящая среди декораций, держа в своих лилейных ручках — что? Вне сомнения, какой-нибудь венок, сплетенный из самых ароматных цветов на свете? Какой-нибудь дорогой ее сердцу томик в сафьяновом переплете и с золотыми застёжками,

бессмертное произведение барда былых времен, над страницами которого она так часто любит поразмышлять? Возможно, «Поэмы Уильяма Смита», этого идола ее нежных чувств, в двух томах *in quarto*, опубликованные за несколько лет до описываемых событий, лишь один экземпляр которых был до сих пор куплен, да и то им самим, — чтобы подарить его Сьюки. Что же — венок или томик — с такой нежной заботой несет прекрасная дева? Увы, ничего: это всего лишь две кружки портера, которые только что заказали завсегдатаи пивной.

Рядом, в маленькой гостинной, никем не замечаемый, никем не обслуживаемый, хотя его Сьюки была так близко, мокрый, взъерошенный и в дурном настроении, сидел юноша: по его просьбе в камине разожгли огонь, и перед ним он теперь сушился, но, поскольку «веселый очаг, счастливый вестник зимних дней», если воспользоваться его собственным ярким описанием, состоял в настоящий момент из хиленького потрескивающего пучка хвороста, чей единственный эффект состоял в том, что он едва не удушил юношу своим дымом, его можно простить за то, что он не ощущал с несколько большей остротой тот «...огонь Души, когда, очами глядя на разгорающийся уголь, бритт чувствует, назло врагу: его родной очаг принадлежит ему!» — здесь мы снова используем его собственные волнующие слова на эту тему.

Официант, не догадываясь, что перед ним сидит Поэт, о чем-то ему доверительно рассказывал; он распространялся на различные темы, и все равно юноша слушал его без особого внимания, однако когда наконец тот заговорил о Сьюки, тусклые глаза вспыхнули огнем и устремили на говорившего дикий взор, в котором читались презрение и вызов и который, к сожалению, пропал даром, поскольку его объект в этот момент помешивал дрова и ничего не заметил.

— Скажи, о повтори эти слова еще раз! — задыхаясь, произнес поэт. — Должно быть, я неправильно расслышал!

Официант удивленно взглянул на него, но любезно повторил свое замечание:

— Я всего лишь говорил, сэр, что она необычайно умная девушка, с большой сноровкой, и поскольку я надеюсь в один прекрасный день ею овладеть, то, если этому суждено случиться... — Больше он не сказал ничего, ибо Поэт, издав мучительный стон, в смятении выбежал из комнаты.

Глава третья

«Нет, это уж слишком!»
(*Старая пьеса*)

Ночь, непроглядная ночь.

В данном случае непроглядность ночи была представлена гораздо более внушительно, чем представляется жителям обычных городов, благодаря освященному веками обычаю, соблюдаемому обитателями Уитби и заключающемуся в том, что они оставляли свои улицы совершенно неосвещенными: бросая таким образом вызов прискорбно быстрому наступлению волны прогресса и цивилизации, они выказывали немалую долю нравственного мужества и независимого суждения. Людям ли разумным принимать на вооружение каждое новомодное изобретение своего века только лишь на том основании, что так поступили их соседи? Можно было бы попробовать пристыдить их, заявив, что тем самым они только сами себе вредят, и таковое замечание было бы неопровержимой истиной; но оно бы привело лишь к тому, что подняло в глазах восхищенной нации их заслуженную репутацию людей, отличающихся героическим самопожертвованием и бескомпромиссностью.

Не разбирая дороги страдающий от безнадежной любви Поэт отчаянно ринулся в ночь; иногда он летел вверх тормашками, зацепившись о дверной порог, иногда проваливался по пояс в канаву, но продолжал идти вперед, вперед, не обращая внимания на направление.

В самом темном месте одной из этих угрюмых улиц (единственная ближайшая витрина магазина, в которой горел свет, находилась примерно в пятидесяти ярдах) случай свел его с тем самым человеком, от которого он бежал, с человеком, которого он ненавидел как удачливого соперника и который довел его до сего приступа безумия. Официант, не зная, в чем дело, последовал за юношей, дабы удостовериться, что с ним не приключилось вреда, и чтобы привести его назад, при этом даже не представляя, какое потрясение его ожидает.

Как только Поэт уяснил, кто перед ним, вся накопившаяся в нем злость вырвалась наружу: он бросился на официанта, схватил

обеими руками за горло, швырнул на землю и там довел его до крайней степени удушения — и все это проделал в один присест.

— Предатель! Разбойник! Мятежник! Цареубийца! — прошипел он сквозь стиснутые зубы, прибегнув к первым попавшимся оскорбительным эпитетам, которые пришли ему в голову, при этом не задумываясь об их уместности. — Это ты? Теперь же ощути мой гнев! — И нет сомнений, что официант действительно испытал это необычное ощущение, каково бы оно ни было, ибо яростно боролся со своим противником и даже, как только снова обрел способность дышать, заорал: «Убивают!»

— Не говори так, — сурово заметил Поэт, отпустив его, — это ты меня убиваешь.

Официант поднялся и заговорил в величайшем изумлении:

— Но почему, я ведь никогда...

— Это ложь! — возопил Поэт. — Она тебя не любит! Меня, меня лишь одного!

— А кто, вообще, говорил, что любит? — спросил второй, начиная понимать, в чем суть дела.

— Ты! Ты молвил это, — последовал возбужденный ответ, — что, разбойник? Овладеть ею? Сего тебе не суждено вовек!

Официант спокойно пояснил:

— Я сказал, сэр, что у нее удивительная сноровка, и я надеюсь этой сноровкой овладеть, научиться так же быстро и умело, как она, прислуживать за столом, а она это делает поразительно хорошо, тут сомнений нет: я думал, что, овладев такой сноровкой, я мог бы претендовать на должность главного официанта в гостинице. — Гнев Поэта мгновенно утих, собственно говоря, он даже выглядел теперь скорее удрученным, чем наоборот.

— Прости совершенное мною насилие, — мягко произнес он, — и давай выпьем как друзья.

— Согласен, — великодушно ответил официант, — но, клянусь всеми святыми, вы превратили мое пальто в тряпку!

— Мужайся! — весело воскликнул наш герой. — Вскоре у тебя будет новое одеяние: да, и из самого лучшего кашемира.

— Хм, — неуверенно отозвался второй, — а никакой другой матерьял не...

— Я не буду покупать тебе пальто ни из какого другого материала, — вежливо, но решительно отрезал Поэт, и официант сдался.

Снова прибыв в уютную таверну, Поэт с воодушевлением заказал чашу с пуншем и, когда ее принесли, предложил своему новому другу произнести тост.

— Я скажу, — начал официант, который был склонен к сентиментальности, хотя по нему это вряд ли можно было бы сказать, — я скажу: Женщина! Она удваивает наши печали и уменьшает вполовину наши радости. — Поэт осушил чашу, не удосужившись исправить ошибку, допущенную сотоварищем, и в течение всего вечера время от времени высказывалось то же вдохновляющее мнение. И так проходила ночь, и была заказана еще одна чаша с пуншем, и еще одна.

* * * * *

— А теперь позвольте мне, — сказал официант, пытаясь примерно в десятый раз подняться на ноги и произнести речь и потерпев в этом еще более явную неудачу, чем ранее, — поднять тост за это счастливое событие. Женщина! Она уменьшает... — Но в этот момент, вероятно, в качестве иллюстрации к своей излюбленной теории, он и сам «уменьшился», согнувшись пополам, причем столь успешно, что в мгновение ока исчез под столом.

Можно предположить, что официант настолько пал, что ударился в лекцию на тему человеческих злосчастий в целом и способов избавления от них в частности, ибо из его убежища доносился торжественный глас, с чувством, хотя и довольно неразборчиво, возвещавший, что «когда тревога в сердце поселилась...» — здесь наступила пауза, словно он пожелал оставить вопрос открытым для обсуждения, однако, поскольку никто из присутствующих не был достаточно компетентен, чтобы предложить способ выхода из таковой прискорбной ситуации, он попытался восполнить досадный пробел самостоятельно, сообщив, что «она была точь-в-точь, как мне приснилась».

Тем временем Поэт сидел, тихо улыбаясь самому себе, и попивал пунш: единственное, чем он отметил внезапное исчезновение своего товарища, состояло в том, что он плеснул себе новую порцию пунша и сердечным голосом произнес: «Ваше здоровье!», кивая в том направлении, где должен был находиться официант. Затем он ободряюще воскликнул: «Слушайте!

Слушайте!» и предпринял попытку стукнуть по столу кулаком, но промахнулся. Судя по всему, его заинтересовал вопрос касательно сердца, в котором поселилась тревога, и он с пониманием подмигнул два или три раза, словно у него было что сказать на эту тему, если бы он захотел; однако вторая цитата пробудила в нем желание произнести речь, и он сразу же вторгся в подземный монолог официанта с восторженным отрывком из стихотворения, которое только что сочинил:

Что из того, что в Жизни есть и горести, и муки?
Из всех прекраснейших цветов, что Жизнь дает нам в руки,
Я получил целый букет, когда я выбрал Сьюки!

Скажи, неужто ты могла б не оценить таланта
И выйти замуж за официанта?
И Шмица променять на прощелыгу-франта?

Нет! Официант тщеславный был немил ей.
Она, одна, в венке из гордых лилий,
Песнь пела о желанном Вилли.

Пока официант, ум потеряв, блаженно
Мнил, что сорван им цветок сей совершенный,
Явился он, твой Вилли драгоценный.

Теперь в душе твоей звучат иные звуки,
Ибо — барон ли Шмиц иль сын прислуги, —
Он свет в окне для верной Сьюки!

Он помолчал в ожидании ответа, но единственным откликом был громкий храп, доносившийся из-под стола.

Глава четвертая

«Неужели это конец ?»
(Николас Никльби)

Под лучами вновь взошедшего Солнца сердитые волны вздымаются и бьются об Утес, мимо которого Поэт задумчиво держит путь. Возможно, читателя удивит, что он еще не побеседовал со своей возлюбленной Сьюки; читатель может

спросить, в чем же туг причина, — его вопрос будет тщетен: единственная обязанность историка — с неуклонной точностью фиксировать развитие событий; если бы он вышел за эти рамки и попытался углубиться в скрытые причины вещей, всякие там «почему» и «отчего», он бы вторгнулся в вотчину ученого-метафизика.

В этот же момент Поэт достиг небольшого поднимающегося вверх участка в конце каменистой тропинки, где нашел удобное для сидения место, с которого открывался вид на океан.

Он устало опустил на камень и некоторое время сидел, мечтательно вперив взор в бескрайние просторы океана; затем, очнувшись от неожиданной мысли, открыл записную книжку и приступил к правке и завершению своего стихотворения. Он медленно бормотал слова «полон — поклон — волн», нетерпеливо постукивая ногой о землю. «Ага, это подойдет, — произнес наконец юноша со вздохом облегчения, — *волн*»:

Его корабль исчез в морской пучине,
В подводном вихре пенных волн —
На дне глубоком покоится он ныне,
Попав навечно в водяной полон.

«Вторая строка весьма недурна, — восторженно продолжал он, — и, кроме того, построена на кольриджевском принципе аллитерации — П. В., П. В. — «В подводном вихре пенных волн»».

— Поосторожнее! — рявкнул чей-то голос прямо ему в ухо. — То, что ты скажешь, будет использовано против тебя в качестве вещественного доказательства, — и не вздумай сопротивляться, теперь уж никуда не денешься. — Последнее замечание было вызвано отчаянным сопротивлением Поэта, по понятным причинам возмущенного тем, что его неожиданно схватили сзади двое неизвестных.

— Он сам признался, констебль! Вы ведь слышали? — сказал первый (который носил славное имя Маггл и которого почти излишне представлять читателю как путешественника из главы Первой!) — наговорил достаточно, чтоб поплатиться за эту жизнь!

— Я же тебе велел заткнуться, — тепло отозвался второй, — похоже, жентельмен изливал свои чувства в стихах.

— Что... в чем дело? — ловя ртом воздух, прохрипел в этот

момент наш незадачливый герой, который наконец обрел способность дышать. — Вы, Маггл, что вы хотите этим сказать?

— Я хочу этим сказать?! — разбушевался его бывший друг. — Что *ты* хочешь этим сказать, если уж на то пошло? Ты убийца, вот ты кто! Где официант, который был с тобой прошлой ночью? Ну-ка скажи!

— О... официант? — медленно повторил Поэт, все еще ошеломленный внезапностью своего пленения. — А в чем дело, я его у...

— Я так и знал! — вскричал его друг, который тут же бросился на него и, ухватившись за горло, придушил едва родившееся слово в зародыше. — Он его утопил, констебль! Что я вам говорил? И как ты это сделал? — продолжил он, на долю секунды ослабив хватку, дабы получить ответ.

Ответ Поэта, насколько его можно было понять (ибо он был выдан в весьма фрагментарном состоянии, буквально по крупичкам, в перерывах между судорожными глотками воздуха), был следующим:

— Это я виноват... я... вы меня задушите... виноват... я бы... даже сказал... дал промашку... я... угостил его... вы... вы... меня заду... я говорю... я угостил его...

— Дубиной по голове, я полагаю, — заключил второй, который в этом месте перекрыл скудную подачу воздуха, которым он позволял своей жертве наслаждаться до сего момента, — и он свалился в воду: никаких сомнений. Я слышал, что кто-то свалился с Моста вчера ночью. — И, поворачиваясь к констеблю, добавил: — Несомненно, именно этот несчастный официант. Теперь запомните хорошенько мои слова, констебль! С этого момента я отказываюсь от дружбы с этим человеком: не жалейте его! Не думайте о том, чтобы отпустить его ради испытываемых мною дружеских чувств!

В этот момент из уст Поэта исторглись некие конвульсивные звуки, которые по зрелом размышлении могли означать следующее: «проклятый пунш... ударил... ему... в голову... не смог удержаться... на ногах...»

— Несчастный! — сурово прервал его Маггл. — Ты еще можешь шутить на эту тему? Значит, ударил ему в голову? И что потом?

— Это его... сильно... под... косило... — продолжил

несчастный Шмиц свой довольно бессвязный монолог, который был оборван нетерпеливым констеблем, после чего вся компания отправилась назад в город.

Однако внезапно на сцене появился неожиданный персонаж, который разразился речью, примечательной скорее своим эмоциональным напором, чем грамматической точностью:

— Я только что об этом услышал — спал под столом — не рассчитал свои силы — выпил больше, чем следовало, — он так же невинен, как я... мертвый — еще чего! я еще живее, чем вы, ничего себе дела.

Эта речь произвела на слушателей различное впечатление: констебль спокойно отпустил пленника, растерянный Маггл пробормотал: «Невозможно! заговор — лжесвидетельство — пусть выясняет суд», в то время как счастливый Поэт бросился в объятия своего спасителя, восклицая срывающимся голосом: «Нет, никогда с этого момента мы не расстанемся! Мы будем жить и любить так искренне!», изливая чувства, на которые официант откликнулся не столь тепло, как можно было бы ожидать.

Позднее в тот же день Вильгельм и Сьюки сидели и беседовали с официантом и несколькими знакомыми, когда в комнату неожиданно вошел исполненный раскаяния Маггл и, положив на колени Шмицу сложенный лист бумаги, произнес глухим голосом трогательные слова «будьте счастливы!», после чего исчез навсегда.

Прочитав документ, Вильгельм поднялся на ноги: под влиянием момента его сподвигло на нечаянный экспромт:

О Сьюки! Он купил, да, лично Маггл,
Несправедливость исправляя споро,
Лицензию на свободную пивную.
Имеем право продавать теперь
Спиртное, портер, и табак, и эль!

И на этом мы покинем его: кто усомнится в его будущем счастье? Разве Сьюки не с ним? А раз она с ним, он счастлив.

ОРИГИНАЛ

Lewis Carroll

WILHELM VON SCHMITZ

Chapter I

" 'Twas Ever Thus"
(*Old Play*)

The sultry glare of noon was already giving place to the cool of a cloudless evening, and the lulled ocean was washing against the Pier with a low murmur, suggestive to poetical minds of the kindred ideas of motion and lotion^ when two travelers might have been seen, by such as chose to look that way, approaching the secluded town of Whitby by one of those headlong paths, dignified by the name of road, which serve as entrances into the place, and which were originally constructed, it is supposed, on the somewhat fantastic model of pipes running into a water-butt. The elder of the two was a sallow and careworn man; his features were adorned with what had been often at a distance mistaken for a moustache, and were shaded by a beaver hat, of doubtful age, and of appearance which, if not respectable, was at least venerable. The younger, in whom the sagacious reader already recognizes the hero of my tale, possessed a form which, once seen, could scarcely be forgotten: a slight tendency to obesity proved but a trifling drawback to the manly grace of its contour, and though the strict laws of beauty might perhaps have required a somewhat longer pair of legs to make up the proportion of his

figure, and that his eyes should match rather more exactly than they chanced to do, yet to those critics who are untrammelled with any laws of taste, and there are many such, to those who could close their eyes to the faults in his shape, and single out its beauties, though few were ever found capable of the task, to those above all who knew and esteemed his personal character, and believed that the powers of his mind transcended those of the age he lived in, though alas! none such has as yet turned up — to those he was a very Apollo.

What though it had not been wholly false to assert that too much grease had been applied to his hair, and too little soap to his hands? that his nose turned too much up, and his shirt collars too much down? that his whiskers had borrowed all the colour from his cheeks, excepting a little that had run down into his waistcoat? Such trivial criticisms were unworthy the notice of any who laid claim to the envied title of the connoisseur.

He had been christened William, and his father's name was Smith, but though he had introduced himself to many of the higher circles in London under the imposing name of "Mr. Smith, of Yorkshire", he had unfortunately not attracted so large a share of public notice as he was confident he merited: some had asked him how far back he traced his ancestry; others had been mean enough to hint that his position in society was not entirely unique; while the sarcastic enquiries of others touching the dormant peerage in his family, to which, it was suggested, he was about to lay claim, had awakened in the breast of the noble-spirited youth an ardent longing for that high birth and connection which an adverse Fortune had denied him.

Hence he had conceived the notion of that fiction, which perhaps in his case must be considered merely as a poetical licence, whereby he passed himself off upon the world under the sounding appellation which heads this tale. This step had already occasioned a large increase in his popularity, a circumstance which his friends spoke of under the unpoetical simile of a bad sovereign fresh gilt, but which he himself more pleasantly described as, "... a violet pale, At length discovered in its mossy dale, And borne to sit with kings": a destiny for which, as it is generally believed, violets are not naturally fitted.

The travelers, each buried in his own thoughts, paced in silence down the steep, save when an unusually sharp stone, or an

unexpected dip in the road, produced one of those involuntary exclamations of pain, which so triumphantly demonstrate the connection between Mind and Matter. At length the young traveler, rousing himself with an effort from his painful reverie, broke upon the meditations of his companion with the unexpected question, "Think you she will be much altered in feature? I trust me not." "Think who?" testily rejoined the other: then hastily correcting himself, with an exquisite sense of grammar, he substituted the expressive phrase, "Who's the she you're after?" "Forget you then," asked the young man, who was so intensely poetical in soul that he never spoke in ordinary prose, "forget you the subject we conversed on but now? Trust me, she hath dwelt in my thoughts ever since." "But now!" his friend repeated, in sarcastic tone, "it is an hour good since you spoke last." The young man nodded assent; "An hour? true, true. We were passing Lyth, as I bethink me, and lowly in thine ear was I murmuring that touching sonnet to the sea I writ of late, beginning, 'Thou roaring, snoring, heaving, grieving main which ——" "For pity's sake!" interrupted the other, and there was real earnestness in that pleading tone, "don't let us have it all again! I have heard it with patience once already."

"Thou hast, thou hast," the baffled poet replied: "well then, she shall again be the topic of my thoughts," and he frowned and bit his lip, muttering to himself such words as cooky, hooky, and crooky, as if he were trying to find a rhyme to something. And now the pair were passing near a bridge, and shops were on their left and water on their right; and from beneath uprose a confused hubbub of sailors' voices, and, wafted on the landward breeze, came an aroma, dimly suggestive of salt herring, and all things from the heaving waters in the harbour to the light smoke that floated gracefully above the housetops, suggested nought but poetry to the mind of the gifted youth.

Chapter II

"And I, for One"
(*Old Play*)

"But about she," resumed the man of prose, "what's her

name? You never told me that yet." A faint flush crossed the interesting features of the youth; could it be that her name was unpoetical, and did not consort with his ideas of the harmony of nature? He spoke reluctantly and indistinctly; "Her name", he faintly gasped, "is Sukie."

A long, low whistle was the only reply; thrusting his hands deep in his pockets, the elder speaker turned away, while the unhappy youth, whose delicate nerves were cruelly shaken by his friend's ridicule, grasped the railing near to him to steady his tottering feet. Distant sounds of melody from the cliff at this moment reached their ears, and while his unfeeling comrade wandered in the direction of the music, the distressed poet hastily sought the Bridge, to give his pent-up feelings vent, unnoticed by the passers-by.

The Sun was setting as he reached the spot, and the still surface of the waters below, as he crossed on to the Bridge, calmed his perturbed spirit, and sadly leaning his elbows on the rail, he pondered. What visions filled that noble soul, as, with features that would have beamed with intelligence, had they only possessed an expression at all, and a frown that only needed dignity to be appalling, he fixed upon the sluggish tide those fine though bloodshot eyes?

Visions of his early days; scenes from the happy time of pinafores, treacle, and innocence; through the long vista of the past came floating spectres of long-forgotten spelling-books, slates scrawled thick with dreary sums, that seldom came out at all, and never came out right; tingling and somewhat painful sensations returned to his knuckles and the roots of his hair; he was a boy once more.

"Now, young man there!" so broke a voice upon the air, "tak whether o' the two roads thou likes, but thou ca'n't stop in't middle!" The words fell idly on his ears, or served but to suggest new trains of reverie; "Roads, aye, roads," he whispered low, and then louder, as the glorious idea burst upon him, "Aye, and am I not the Colossus of Rhodes?" he raised his manly form erect at the thought, and planted his feet with a firmer stride.

...Was it but a delusion of his heated brain? or stern reality? slowly, slowly yawned the bridge beneath him, and now his footing is already grown unsteady, and now the dignity of his attitude is gone: he recks not, come what may; is he not a

Colossus?

...The stride of a Colossus is possibly equal to any emergency; the elasticity of fustian is limited; it was at this critical juncture that "the force of nature could no further go", and therefore deserted him, while the force of gravity began to operate in its stead.

In other words, he fell.

And the "Hilda" went slowly on its way, and knew not that it passed a poet under the Bridge, and guessed not whose were those two feet, that disappeared through the eddying waters, kicking with spasmodic energy; and men pulled into a boat a dripping, panting form, that resembled a drowned rat rather than a Poet; and spoke to it without awe, and even said, "young feller," and something about "greenhorn", and laughed; what knew they of Poetry?

Turn we to other scenes: a long, low room, with high-backed settees, and a sanded floor: a knot of men drinking and gossiping: a general prevalence of tobacco; a powerful conviction that spirits existed somewhere: and she, the fair Sukie herself, gliding airily through the scene, and bearing in those lily hands — what? Some garland doubtless, wreathed of the most fragrant flowers that grow? Some cherished volume, morocco-bound and golden-clasped, the works immortal of the bard of eld, whereon she loveth oft to ponder? Possibly, "The Poems of William Smith," that idol of her affections, in two volumes quarto, published some years ago, whereof one copy only has as yet been sold, and that he bought himself — to give to Sukie. Which of these is it that the beauteous maiden carries with such tender care? Alas none: it is but those two "goes of arf-an-arf, warm without", which have just been ordered by the guests in the taproom.

In a small parlour hard by, unknown, untended, though his Sukie was so near, wet, moody, and dishevelled, sat the youth: the fire had been kindled at his desire, and before it he was now drying himself, but as "the cheery blaze. Blithe harbinger of wintry days", to use his own powerful description, consisted at present of a feeble, spluttering faggot, whose only effect was to half-choke him with its smoke, he may be pardoned for not feeling, more keenly than he does, that ". . . fire of Soul, When gazing on the kindling coal, A Britain feels that, spite of fone. He wots his native hearth his own!" we again employ his own thrilling

words on the subject.

The waiter, unconscious that a Poet sat before him, was talking confidingly; he dwelt on various themes, and still the youth sat heedless, but when at last he spoke of Sukie, those dull eyes flashed with fire, and cast upon the speaker a wild glance of scornful defiance, that was unfortunately wasted, as its object was stirring the fire at the moment and failed to notice it. "Say, oh say those words again!" he gasped. "I surely heard thee not aright!" The waiter looked astonished, but obligingly repeated his remark, "I were merely a saying, sir, that she's an uncommon clever girl, and as how I were 'oping some day to hacquire her Hart, if so be that — " He said no more, for the Poet with a groan of anguish, had rushed distractedly from the room.

Chapter III

"Nay, Tis Too Much!"
(*Old Play*)

Night, solemn night.

On the present occasion the solemnity of night's approach was rendered far more striking than it is to dwellers in ordinary towns, by that time-honoured custom observed by the people of Whitby, of leaving their streets wholly unlighted: in thus making a stand against the deplorably swift advance of the tide of progress and civilization, they displayed no small share of moral courage and independent judgment. Was it for a people of sense to adopt every new-fangled invention of the age, merely because their neighbours did? It might have been urged, in disparagement of their conduct, that they only injured themselves by it, and the remark would have been undeniably true; but it would only have served to exalt, in the eyes of an admiring nation, their well-earned character of heroic self-denial and uncompromising fixity of purpose.

Headlong and desperate, the lovelorn Poet plunged through the night; now tumbling up against a doorstep, and now half down in a gutter, but ever onward, onward, reckless where he went.

In the darkest spot of one of those dark streets (the nearest

lighted shop window being about fifty yards off), chance threw into his way the very man he fled from, the man whom he hated as a successful rival, and who had driven him to this pitch of frenzy. The waiter, not knowing what was the matter, had followed him to see that he came to no harm, and to bring him back, little dreaming of the shock that awaited him.

The instant the Poet perceived who it was, all his pent-up fury broke forth; to rush upon him, to grasp him by the throat with both hands, to dash him to the ground, and there to reduce him to the extreme verge of suffocation — all this was the work of a moment.

"Traitor! villain! malcontent! regicide!" he hissed through his closed teeth, taking any abusive epithet that came into his head, without stopping to consider its suitability. "Is it thou? Now shalt thou feel my wrath!" And doubtless the waiter did experience that singular sensation, whatever it may have been, for he struggled violently with his assailant, and bellowed "murder" the instant he recovered his breath.

"Say not so," the Poet sternly answered, as he released him; "it is thou that murderest me." The waiter gathered himself up, and began in great surprise, "Why, I never ——" "'Tis a he!" the Poet screamed; "she loves thee not! Me, me alone." "Who ever said she did?" the other asked, beginning to perceive how matters stood. "Thou! thou saidst it," was the wild reply, "what, villain? acquire her heart? thou never shalt."

The waiter calmly explained himself: "My 'ope were. Sir, to hacquire her Hart of waiting at table, which she do perdigious well, sure-ly: seeing that I were thinking of happlyng for to be 'cadwaiter at the 'otel." The Poet's wrath instantly abated, indeed, he looked rather crestfallen than otherwise; "Excuse my violence," he gently said, "and let us take a friendly glass together." "I agree," was the waiter's generous answer, "but man halive, you've ruined my coat!"

"Courage," cried our hero gaily, "thou shalt have a new one anon: aye, and of the best cashmere." "H'm," said the other, hesitatingly, 'wouldn't hany other stuff ——" "I will not buy thee one of any other stuff," returned the Poet, gently but decidedly, and the waiter gave up the point.

Arrived once more at the friendly tavern, the Poet briskly ordered a jorum of Punch, and, on its being furnished, called on

his friend for a toast. "I'll give you," said the waiter, who was of a sentimental turn, however little he looked like it, "I'll give you — Woman! She doubles our sorrows and 'alves our joy." The Poet drained his glass, not caring to correct his companion's mistake, and at intervals during the evening the same inspiring sentiment was repeated. And so the night wore away, and another jorum of Punch was ordered, and another.

* * * * *

"And now hallow me," said the waiter, attempting for about the tenth time to rise on his feet and make a speech, and failing even more signally than he had yet done, "to give a toast for this 'appy hoccasion. Woman! she doubles ——" but at this moment, probably in illustration of his favourite theory, he "doubled" himself up, and so effectually, that he instantly vanished under the table.

Occupying that limited sphere of observation, it is conjectured that he fell to moralizing on human ills in general, and their remedies, for a solemn voice was presently heard to issue from his retreat, proclaiming feelingly though rather indistinctly, that "when the 'art of man is hopressed with care ——" here came a pause, as if he wished to leave the question open to discussion, but as no one present seemed competent to suggest the proper course to be taken in that melancholy contingency, he attempted to supply the deficiency himself with the remarkable statement "she's hall my fancy painted 'er".

Meanwhile the Poet was sitting, smiling quietly to himself, as he sipped his punch: the only notice he took of his companion's abrupt disappearance was to help himself to a fresh glass, and say, "your health!" in a cordial tone, nodding to where the waiter ought to have been. He then cried, "hear, hear!" encouragingly, and made an attempt to thump the table with his fist, but missed it. He seemed interested in the question regarding the heart oppressed with care, and winked sagaciously with one eye two or three times, as if there were a good deal he could say on that subject, if he chose; but the second quotation roused him to speech, and he at once broke into the waiter's subterranean soliloquy with an ecstatic fragment from the poem he had been just composing:

"What though the world be cross and crooky?
Of Life's fair flowers the fairest bouquet
I plucked, when I chose *thee*, my Sukie!

"Say, could'st thou grasp at nothing greater
Than to be wedded to a waiter?
And did'st thou deem thy Schmitz a traitor?

"Nay! the fond waiter was rejected,
And thou, alone, with flower-bedecked head,
Sitting, did'st sing of one expected.

"And while the waiter, crazed and silly.
Dreamed he had won that precious lily.
At length he came, thy wished-for Willie.

"And then thy music took a new key,
For whether Schmitz be boor or duke, he
Is all in all to faithful Sukie!"

He paused for a reply, but a heavy snoring from beneath the table was the only one he got.

Chapter IV

"Is This the Hend?"
(*"Nicholas Nickleby"*)

Bathed in the radiance of the newly-risen Sun, the billows are surging and bristling below the Cliff, along which the Poet is thoughtfully wending his way. It may possibly surprise the reader that he should not ere this have obtained an interview with his beloved Sukie: he may ask the reason: he will ask in vain: to record with rigid accuracy the progress of events is the sole duty of the historian: were he to go beyond that, and attempt to dive into the hidden causes of things, the why and the wherefore, he would be trespassing on the province of the metaphysician.

Presently the Poet reached a small rising ground at the end of the gravel walk, where he found a seat commanding a view of the sea, and here he sunk down wearily.

For a while he gazed dreamily upon the expanse of ocean,

then, struck by a sudden thought, he opened a small pocket book, and proceeded to correct and complete his last poem. Slowly to himself he muttered the words "death — saith — breath", impatiently tapping the ground with his foot. "Ah, that'll do," he said at last, with an air of relief, "breath":

"His barque had perished in the storm,
Whirled by its fiery breath
On sunken rocks, his stalwart form
Was doomed to watery death."

"That last line's good," he continued exaltingly, "and on Coleridge's principle of alliteration, too — W. D., W. D. — was doomed to watery death."

"Take care," growled a deep voice in his ear, "what you say will be used in evidence against you — now it's no use trying that, we've got you tight," this last remark being caused by the struggles of the Poet, naturally indignant at being unexpectedly collared by two men from behind.

"He's confessed to it, constable? you heard him?" said the first speaker (who rejoiced in the euphonious title of Muggle, and whom it is almost superfluous to introduce to the reader as the elder traveler of Chapter One)! "it's as much as his life is worth."

"I say, stow that ——" warmly responded the other; "seems to me the gen'leman was a spouting potry."

"What — what's the matter?" here gasped our unfortunate hero, who had recovered his breath; "you — Muggle — what do *you* mean by it?"

"Mean by it!" blustered his quondam friend, "what do you mean by it, if it comes to that? You're an assassin, that's what you are! Where's the waiter you had with you last night? answer me that!"

"The — the waiter?" slowly repeated the Poet, still stunned by the suddenness of his capture, "why, he's dr ——"

"I knew'it!" cried his friend, who was at him in a moment, and choked up the unfinished word in his throat, "drowned. Constable! I told you so — and who did it?" he continued, loosing his grip a moment to obtain an answer.

The Poet's answer, so far as it could be gathered (for it came out in a very fragmentary state, and as it were by crumbs, in

intervals of choking), was the following: "It was my — my — you'll kill me — fault — I say, fault — I — I — gave him — you — you're suffoca — I say — I gave him ——" "a push I suppose," concluded the other, who here "shut off" the slender supply of breath he had hitherto allowed his victim "and he fell in: no doubt. I heard some one had fallen off the Bridge last night," turning to the Constable; "no doubt this unfortunate waiter. Now mark my words! from this moment I renounce this man as my friend: don't pity him, constable! don't think of letting him go to spare *my* feelings!"

Some convulsive sounds were heard at this moment from the Poet, which, on attentive consideration, were found to be "the punch — was — was too much — for him — quite — it — quite ——" "Miserable man!" sternly interposed Muggle; "can you jest about it? You gave him a punch, did you? and what then?"

"It quite — quite — upset him," continued the unhappy Schmitz, in a sort of rambling soliloquy, which was here cut short by the impatience of the Constable, and the party set forth on their return to the town.

But an unexpected character burst upon the scene and broke into a speech far more remarkable for energetic delivery than for grammatical accuracy: "I've only just 'erd of it — I were hasleep under table — 'avin' taken more punch than I could stand — he's as hinnocent as I am — dead indeed! I'm more alive than you, a precious sight!"

This speech produced various effects on its hearers: the Constable calmly released his man, the bewildered Muggle muttered "Impossible! Conspiracy — perjury — have it tried at assizes": while the happy Poet rushed into the arms of his deliverer crying in a broken voice: "No, never from this hour to part. We'll live and love so true!" a sentiment which the waiter did not echo with the cordiality that might have been expected.

Later in the day, Wilhelm and Sukie were sitting conversing with the waiter and a few friends, when the penitent Muggle suddenly entered the room, placed a folded paper on the knees of Schmitz, pronounced in a hollow tone the affecting words "be happy!" vanished, and was seen no more.

After perusing the paper, Wilhelm rose to his feet; in the excitement of the moment he was roused into unconscious and extempore verse:

"My Sukiel He hath bought, yea, Maggie's self.
Convinced at last of deeds unjust and foul.
The licence of a vacant public-house.
We are licensed here to sell to all,
Spirits, porter, snuff, and ale!"

So we leave him: his after happiness who dare to doubt? has
he not Sukie? and having her, he is content.

1854

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

1. Эпиграфы к этому рассказу служат очевидной пародией на Вальтера Скотта, который зачастую сам придумывал эпиграфы к главам своих романов, ссылаясь на «старинные пьесы». Только вместо стихотворных «отрывков» собственного сочинения Кэрролл ставит эпиграфами банальнейшие выражения.

2. В рассказе действие происходит в приморском городке Уитби, что в Йоркшире, куда в 1854 г. Ч.Л. Доджсон (будущий Льюис Кэрролл) в компании студентов отправился на летние каникулы и для подготовки к выпускным экзаменам и где состоялся дебют Доджсона как литератора — наряду с настоящим рассказом там было напечатано стихотворение «Леди Поварешка», герой которого также влюблен в девушку низшего класса и даже схожей профессии — кухарку:

В Сочельник юноша один
Пил утром близ Таможни джин,
Потом пошел гулять на рейд —
Зовется он «Марин Перейд»
(Где, то есть, место морякам,
Что «ходят маршем по волнам»
Но где лишь окунется тот,
Кто сухопутно жизнь ведет);
Потом он повернул назад,
Прошел бульвары все подряд,
Прошел по улиц тесноте,
Где, кажется, дома — и те,
Несильный сделают рывок,
И сдвинутся порог в порог;
Взобрался лестницей крутой,
Что воспарила над землей —
На ней упарился бы всяк,
Богатый будь или бедняк.
Жильцы дивились: граф не граф —
Холодный вид, спесивый нрав
И, обстановке вопреки,

Глядится очень щегольски.
Имел он тросточку, букет,
Был на помажен, разодет —
Трудился не из пустяка:
Любил!.. Кухарку с чердака.
На пляж он забредал, забыв,
Что ноги вымочит прилив;
Там пел он, стоя на песке —
Он выход тем давал тоске!

Цитата «ходят маршем по волнам» взята из стихотворения Томаса Кэмпбелла (1777—1844) «Морякам Англии».

3. Золотой соверен — монета достоинством в один фунт стерлингов, что равняется двадцати шиллингам.

4. Цитата из «стихотворной надписи» Джона Драйдена «К портрету Джона Мильтона».

5. Судно «Хильда» и городок Уитби фигурируют также в стихотворении Ч.Л. Доджсона (Льюиса Кэрролла) «Поминальный плач»:

«Унесла ее „Хильда“
Из Уитби куда-то;
Ее звали Матильда,
Я любил ее свято.
Я спросил билетера
(Ох, казнь я за это):
„Отправляется скоро?“ —
„Не уйдет до рассвета“.

Ей сказал „этот Недди“
(Так звала меня в шутку):
„Скоро, милая, едем,
Подожди лишь минутку“.
Я совсем был готовый,
Забежал только в лавку,
Чтоб на галстук свой новый
Подобрать и булавку.

Героиня кастрюли!
Украшение салату!

И тебя умыкнули,
И багажную плату.
Ей какие заботы?
Уносимые „Хильдой“
Кошелек и банкноты
Я утратил с Матильдой!»

Булавку парень отстегнул,
Протер ее, потом продул
И опустился на песок,
Чтоб от забот вздремнуть часок.

6. «В самом центре большой английской деревни (графство Суррей, д. Тилфорд, Южная Англия — А. М.) не было ни одного фонаря! А была ревностно охраняемая местными жителями (как они сами нам признавались) уникальная — заповедная темнота!.. Однажды они постановили на общедеревенском собрании (трудно представить, но в Англии есть и уличные комитеты, и домкомы, и ассоциации жильцов, а уж собрания, кстати, одна из любимых форм общения!), так вот, постановление гласило: никаких фонарей в центре деревни! Только натуральный лунный и звездный свет, как в старину! А если ночь облачная и дождливая, то пусть будет темно и тихо, как и должно быть в настоящей сельской глуши». «Литературная газета», №7, 19—25.02.2003 (автор заметки — Лидия Григорьева).

7. Чарльз Диккенс, роман «Жизнь и приключения Николаса Никльби», гл. XLII. Пер. А. В. Кривцовой.

8. «Половина наполовину» — кружка подогретого эля пополам с портером

9. Этот эпизод, начиная с разговора в гостинице, основан на игре слов: официант говорит на жаргоне кокни «*hacquire her Hart*» в смысле «овладеть ее мастерством», а Поэт слышит «завладеть ее сердцем».

10. Еще один эпизод, основанный на игре слов: *punch* (удар) и *punch* (пунш) произносится одинаково.

